

Сергей Пылёв

## ОЛЕНУХА

Рассказы



*Сергей Прокофьевич Пылёв родился в 1948 году в городе Коростене Житомирской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал журналистом в воронежских изданиях, главным редактором журнала «Воронеж: Время. События. Люди», заместителем председателя правления Воронежской организации Союза писателей СССР. Автор десяти книг прозы. Лауреат премий «Кольцовский край», журнала «Берега», награжден медалью им. В.М. Шукшина, дипломами форума «Золотой Витязь», знаком «Благодарность от Земли Воронежской». Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.*

**Т**аня Макарова переходила речку Ушивку по зыбкому мостику, когда вдруг услышала странные звуки, точно мартовский лед на реке перенапрягся и начал хлестко ломаться. Это застучали по нему копыта оленухи с телком, бежавших от диких собак. Десятка три матерых псин россыпью со всех сторон обложили их. Март да апрель — самое смертное для «зеркальных» время. Ослабленная зимовкой, оленуха то и дело оскальзывалась и, кажется, уже сама обреченно хотела, чтобы клыки поскорей взрезали ей сонную артерию и прекратилась, наконец, эта заполошная травля. Но как только взглядывала она на упорно скакавшего рядом телка, который, несмотря на свой почти годовалый возраст, был еще прилипчивым сосуном, так и оживала, зверела, подстегивая его судорожным, тяв-кающим хрипом. Однако ничто не помогло уже им и не могло помочь.

Вожак стаи мчался уже бок о бок с оленухой, но все что-то оттягивал последний прыжок.

Лед под оленухой вдруг распахнулся. Она и телок скользнули в полынью.

Таня упала на колени.

Где-то через минуту морда оленухи пробилась наружу из ледяного крошева. Самка рывками стала пробиваться к берегу.

Татьяна бросилась в село.

Скоро сбегались на берег почти все ходячие лужичевцы: кто веревку приволок, кто сеть. Однако первым примчался Танин муж, здешний глава Алешка Макаров, с двумя оглоблями под мышками, точно запряженный конь, который оторвался от передней оси повозки, когда его заполошно понесло.

Оленуха к тому времени своими силами до мелководья добралась, но встать и идти не могла, ноги подламывались. Чтобы не захлебнуться, она судорожно вытягивала из воды шею и глухо потягивала. Телка нигде не было. Уже и вода в проломе устоялась: никаких признаков, что он еще ломится прорваться из-под льда.

Всем миром привязали оленуху к оглоблям и выволокли на берег. Она неуклюже раскорячилась и все норовила оглянуться на реку.

Фермер Михаил Дорофеев, почмокивая, добродушно похлопал оленуху по животу, уже обросшему мелкими сосульками.

— Не резви, едрит твою... — строго сказал.

В этот момент оленуха вдруг неожиданно сильно, с напрягом встряхнулась.

— Тпру!! — резво отскочил Дорофеев.

— Ожила трохе!.. — засмеялся Макаров.

Оленуха оскалилась и фыркнула. Ее поспешили развязать. Она по-человечьи глубоко, нервно вздохнула и, поскальзываясь, медленно, слабыми рывками, стала неуклюже подниматься вверх по склону.

— Иди, иди в свой лес. Жизнь продолжается... — вздохнул Макаров.

И народ потянулся по домам.

Под утро Таня подошла к окну. Ночное небо уже стало блекло-матовым, развиднелось.

На берегу Ушивки темным пятном стояла оленуха. Как видно, всю ночь не сошла с этого места.

Таня влет оделась и вышла.

Оленуха позволила ей подойти совсем близко, не шевельнулась. Лишь вытянув шею и уши в сторону реки и морща грубые, точно кирзовые, ноздри, напряженно приноживалась. Время от времени тяжело вздыхала.

Таня села рядом на корточки.

— Его нет в живых... — сказала тихо, боясь ее спугнуть. — Уходи. А то убьют тебя: или мужики, или собаки.

Оленуха неожиданно громко и сердито тявкнула.

— Не сердись, пожалуйста. Я все понимаю... А можно тебя обнять?

Таня приподнялась и осторожно положила руку ей на шею. Кожа оленухи судорожно напряглась. Внутри ощущалось сдержанное трепетание, точно там какой-то моторчик работал.

— Красотулька моя! — уже громко сказала Таня. — Иди домой, пожалуйста. Ступай в лес. Твой телок теперь в лучшей жизни. Никакие клыкы его там уже не достанут. Нечего сердце рвать! А месяца через два он всплывет... Тогда и приходи. Вместе поплачем.

Оленуха медленно походила на Таню, сопливо чихнула, точно слезами поперхнулась, и неуклюже полезла на ярко высветленный молодым солнцем косогор.

Но на следующий день в то же самое раннее время оленуха вновь стояла на берегу у ледяной закраины.

Когда Таня спустилась к Ушивке, около оленухи, заложив руки за спину и задумчиво ссутулясь, похаживал Мишка Дорофеев. Он напряженно соображал, как не упустить добычу, которая сама пришла им в руки.

— Отойдите от нее, дядя Миша! — догадавшись о его зреющих намерениях, наскочила Таня.

Дорофеев тяжело задышал:

— Танюха, я о простом народе забочусь, не о своем брюхе! Мясо поделим честно, по едокам. Автолавки раньше мая нам не дожждаться. Так что же, ложиться и помирать? Лучше ступай, дочка, за кувалдой... Сам Бог нам эту оленуху послал. Весь мир про нашу Лукичевку забыл, а он — нет...

— Вы не посмеете, — строго сказала Таня. — Я сейчас мужа позову на помощь!

— А он согласен со мной. Мы час назад всем селом это дело обсудили. Без тебя. Так сказать, пощадил твои тонкие нервы. Ладно, я не гордый, сам схожу за кувалдой, а ты пока с этой коровой пошепчись поласковой, чтобы не смылась или с горя не околела.

— Уходи, милая... — шепнула Таня оленухе, когда Дорофеев скрылся за косогором. И построже добавила: — Пошла, пошла отсюда! Ну, дура...

Она замахнулась на нее, но та не пошевелилась. Не стронулась оленуха с места, когда собаки за рекой вдруг затагнули вой про свое унылое житье-бытье.

Дорофеев, однако, так и не пришел. Говорили, запил с того часа.

Вечер, ночь и весь следующий день оленуха уперто, не переступив ни одним копытом, вглядывалась в проплешину на середине Ушивки, где вода уже схватилась новым твердым ледком, жестко оцепенела.

Оленуха не сходила с места три дня. Таня пыталась кормить ее хлебом, но она лишь отдергивала морду и слюняво скалилась. Алешка принес из сарая нового сена, но и на душистую охалку та не отреагировала. Даже сахар не взяла, их последний. Подали ей воды в ведре, так она его мордой подхватила и в сторону со злостью отбросила, чтобы ведро не мешало выглядывать телка. Все казалось оленухе, что вот-вот по льду реки озорно процокают его аккуратные копытца и, увидев ее, длинноухий строго-капризно рыкнет, неумело подражая взрослым самцам.

— Напрасно ты не дала мне ее забить... — наконец вновь объявился на берегу Дорофеев, пошатываясь. И вдруг погладил оленуху: — Отощала животиная. Жаль... Как-никак, потеря ценных килограммов. Ты разве не видишь, что она жить не хочет без своего сосуна? Затем и пришла к нам, чтоб мы ее вслед за ним отправили. Надеется на нас. Так что ты, того, дозвожь мне ее спасительно долбануть по башке!..

Тут как раз и Алексей оказался рядом, покаянно опустил голову:

— Видит Бог, Таня, нам всем эту животину жаль! Но ей без телка уже не жить. Загвоздило. Так что от лица всех лукичевцев прошу тебя: дай нам беспрепятственно страдания ей облегчить... Не сомневайся. Я все в один чик сделаю. Она и не поймет ничего, как уже рядом со своим телком будет через ковыль скакать. Оленуха с часу на час сама сдохнет...

Когда Таня ушла за косогор, Алексей медленным прицельным замахом занес кувалду, поднатужился и пустил ее влет с таким бешеным выдохом, точно наизнанку вывернулся.

Дорофеев стоял в стороне, но когда кувалда полетела, разрывая воздух, все равно машинально шархнулся.

Передние ноги оленухи подломились: она пала на колени и ткнулась мордой в жухлый колкий снег, словно напоследок молитвенно склонилась перед своим оленьим богом.

— Готова... — глухо сказал Дороев, и точно как будто бы змея в траве отрывисто шикнула: это он выверенно, с безупречной точностью хватил наискось по нижней стороне оленухиной шеи ножом и открыл кровь.

Подскочив с ведром, деловито подставил его под густую живую струю. Ни капли не упустил.

После забоя Алексей здесь же, на берегу, начал обдирать шкуру, вынул еще теплый усохший желудок и пустой кишечник. Тушу рубили тоже на месте.

К вечеру лукичевцы все мясо и ливер разобрали с шутками-прибаутками. Даже копыта унесли.

Ночью к Ушивке пришли дикие собаки, однако на берегу ничего толком не нашли. Лишь запах сочной свежатины нагло дразнился. Вожак долго, злобно грыз в этом месте льдистый снег, скреб его отросшими за зиму чуть ли не медвежьими когтями.

## ВСЕ-ТАКИ ОНИ ВЕРНУЛИСЬ...

После войны первым голубятником на нашей приречной Сиреновой улице стал Савва Крестов, одноногий инвалид, вечный завсегдатай птичьего рынка, что располагался на здешней Мясной горе.

Несмотря на фронтное увечье, Савва соорудил голубятню, да такую, что со всего Воронежа неравнодушные к птицам мужики приходили на нее любоваться. Обычно те в лучшем случае напоминают сарай для кур, но Савва расстарался всем голубеводам на зависть: оконца сладил с резными ставенками и цветными стеклами, наличники — ажурные, а дверцы — фигурные, с небольшими, выточенными на токарном станке дубовыми колоннами.

Всякий день до работы и после Савва, подняв голубей, укладывался в саду на раскладушку и, чуть ли не раскрыв рот, следил за фигуристым полетом своей быстрокрылой породистой стаи. От одних названий их загадочно звучащих пород у меня, тогдашнего двенадцатилетнего мальчишки, захватывало дух: турман, гривун, почтарь, монах, чайка или тот же спартак вкупе с павлином.

Год от года с легкой руки Саввы голубятни, хотя и явно попроче, появились и в других дворах. И наконец, всю Сиреновую улицу, весь приречный район охватила самая настоящая голубиная лихорадка. С раннего утра по нерабочим воскресеньям над крышами начинали виртуозно махать шесты, раздавался неможный залихватский свист, и голуби, хлопая резвыми крыльями, со всех сторон взмывали вверх, словно весело и радостно штурмуя небо.

В один из безветренных майских дней в мои руки с неба упало белое голубиное перо с пушистыми усиками на конце; в восторге от его птичьего запаха я даже запрыгал, словно сам собирался взлететь в небо. Вместе с этим пером в меня вошла «голубиная страсть», ставшая тогда у нас самой настоящей эпидемией.

Теперь, когда приходили мои друзья, они уже наперед знали, что я на крыше. И, задрав головы, кричали:

— Са-ань!

— Че? — отзывался я, свесив голову с крыши и морщась, потому что после солнца и яркой синевы, от которых я целое утро не отводил глаз, все внизу казалось тусклым и серым.

— Айда в развалины сходим!

— Погодите, — важно отвечал я. — Вот сядет Саввина стая — тогда махнем!

Однажды я собрался с духом и попросил у матери пару рубликов на голубей.

— Возьми сколько надо, — улыбнулась она. — Ты ведь знаешь где.

Деньги лежали в массивном резном деревянном шкафу между складками бодро пахнущего постельного белья. Нахмурясь, я сосредоточенно отсчитал нужную сумму медными десюнчиками. Это были совсем маленькие деньги, чтобы стать заправским голубятником, но я хорошо помнил мамнины припухшие глаза, красные бороздки на пальцах от колец ножиц, когда она возвращалась с фабрики, носившей, между прочим, какое-то строгое и словно наказующее название — «Работница».

Рынок на Мясной горе собирался рано, но первыми всегда приходили те, кто торговал здесь разной живностью. Но я на этот раз даже их опередил.

Из птиц здесь можно было купить все, что угодно: и ненашенскую желтую аристократку-канарейку, и местных красавцев — важных красногрудых снегирей, франтоватого пестрого щегла, верткого чижа, светливую синицу-цивьеху и даже угрюмую мудрую ворону. И, конечно же, голубей!

В голубином ряду я растерянно остановился.

— Сюда, мальчик!.. Эй, пацан, дуй ко мне!.. — наперебой кричали мне продавцы, а то и требовательно тянули к себе.

В их клетках, в руках, за пазухой и на плечах завораживающе ворковали мускулистые почтари и тучерезы, которые, чуть ли не вертикально взмыв вверх, могли висеть там часами, потом же — акробаты-турманы, умеющие ловко, азартно кувыркаться в небе.

— Да что ты все шастаешь туда-сюда! Не жену выбираешь! — рассердился на меня завсегдатай птичьего рынка Савва Крестов. — Нос не вори! За рупь с полтиной уступлю любую птицу, пусть и себе в убыток. Чем тебе моя «чаечка» не подходит? Покупай! Это, малец, не простой голубь, а чистый профессор небесных просторов! Гляди, какие номера откальывает!

Савва поцеловал голубка и размашисто подбросил. Как гранату метнул. Тот резво сделал круг над Мясной горой и, азартно хлопая крыльями, преданно вернулся к хозяину на плечо.

— Бери, пацан! Или не по карману? Тогда проходи мимо, не мозоль глаза!

Я отвернулся и украдкой пересчитал свои грошики. Но больше, чем было, их не стало.

Вздохнув, я побрел дальше. Теперь и другие продавцы, словно разглядев под вельветом моих штанов куцые два рубля, уже не зазывали меня с прежней настойчивостью и не шутковали со мной.

Уже на выходе с рынка какой-то безногий старик лет пятидесяти в затертой офицерской фуражке догнал меня на своем деревянном ящике с колесиками-подшипниками, резко отталкиваясь от мостовой деревянными колодками. Его «транспорт» громыхал по здешнему булыжнику на всю округу.

У культей старика притулилась корзинка с тремя молодыми длинноклювыми сизарями. За ними не водилось никаких особенных достоинств, и среди голубей они в моем понятии были тем же, что дворняги среди, скажем, породистых овчарок.

Но бумажка на корзине с кособокой карандашной надписью «Всех отдам за один рупь» остановила меня и заставила озабоченно насушиться.

— Бери, паренек, — значительно сказал старик, — не гребуй простым оперением. Сизарь всем голубиным франтам праотец. Изначальная птица! Уловил?

И я уловил, сэкономив целый рубль.

Дома я, как полагается, связал сизарям крылья и пустил птиц на пол: они должны оглядеться, привыкнуть.

Процоквав коготками, голуби поспешно ушли под кровать и забились в дальний темный угол. Иногда они ворковали густыми печальными голосами.

Ночью я часто вскакивал доглядеть своих сизарей. Только задремлю, как вижу сон, будто на улице зима, наши окна почему-то распахнуты и моим голубкам холодно, — так сразу и подхвачусь. Опять засну ненадолго, и теперь представляется мне, что из-под пола высыпали мыши и точат сизаря крылья. И снова я вскакиваю, становлюсь коленками на пол и заглядываю под кровать, настороженно прислушиваясь. Даже на всякий случай строго скажу то самое «мяу», чтобы отпугнуть мышей, если те в самом деле объявились у нас.

Теперь, встречая на улице приречных голубятников, даже самого Савву, я уже не заглядывал им в лица с завистью. Теперь я гордо шел им навстречу и четко, чуть ли не на равных, говорил:

— Здравствуй!

Наконец настал день, когда я развязал сизарей и, прижимая их к груди, забрался по лестнице на крышу дома.

Поначалу голуби жались у моих ног, словно разучившись летать. Я чуть было не обиделся на сизарей и строго зашикал на них.

Они шарахнулись и как-то неумело, заполошно сорвались с крыши и поспешно пересели на кирпичную трубу соседнего двухэтажного дома, построенного в войну пленными немцами.

— Ура-а-а!! — завопил я. — Улю-лю!

Я снял рубашку и что есть сил стал махать ею над головой.

И голуби подхватились, полетели вверх, делая круг за кругом все живее, все азартней, словно радостно ввинчивались в небо, по которому так истосковались у меня под кроватью.

В это время далеко за домами, там, где виднелись зеленые холмики Саввиных яблонь, гуртом подхватисто взвились его голуби. Похоже было, словно кто-то дунул на огромный одуванчик и тот разлетелся белыми искорками.

Я тревожно понял, что моим сизарям не миновать встретиться с Саввиными птицами, что их восходящие круги обязательно пересекутся.

— Назад... Назад... — взволнованно зашептал я себе под нос.

Теперь его стая казалась мне большой сеткой, которая вот-вот накроет моих сизарей.

Я зажмурился...

...А когда через миг открыл глаза, их уже не было. Они стали частью огромной Саввиной стаи. И, наверное, были этому очень рады.

Я заплакал. Я долго сидел на крыше, не зная, что теперь скажу маме и как объясню ей свою оплошность.

А стая Саввы разыгралась как никогда. Его тучерезы взмывали высоко вверх и неподвижно зависали, будто приколотые к небу булавкой, акробаты-турманы пикировали, как самые настоящие боевые ястребки...

Само собой, мои птицы так и не вернулись. Это было известное дело среди голубятников — уводить к себе чужие стаи.

И все-таки на всякий случай я оставил открытым окно в моей спальне. А что, если... Еще и насыпал на подоконник лакомые для голубков пшено и перловку. Пока не стемнело, упорно отгонял от зерен вертких воробьев. Тут у окна и заснул на стуле.

Утром спозаранку я постучал в калитку Саввы. За высокими досками забора подхватисто залаяли собаки.

— Кому не спится, не ложится? — неспешно вышел хозяин.

Не оробеть перед таким здоровяком было просто невозможно.

Тем не менее, у меня хватило смелости сказать Савве, пусть и сбивчиво:

— Отдайте, пожалуйста, моих голубков... Которых вы вчера сманили. Он с ленивой веселостью процедил:

— Так, малец, не положено. Устав, что ли, нашенский не знаешь?

Я вздохнул.

— У меня нет больше денег. Ни копейки. Нечем выкупить...

Я вывернул для наглядности карманы своих вельветовых штанов. На траву упали винтовочная гильза, какая-то ржавая гайка и спичечная этикетка с изображением наикрасивейшего голубя знаменитой мичуринской породы.

Я сел на корточки и стал собирать все эти свои мальчишеские драгоценности. Собирал я дольше, чем следовало. Чтобы Савва не увидел слез на моих глазах.

Пока я возился, Савва то ли проникся моим горем, то ли просто так, но неожиданно подобрел.

— Ну, ладно, топай за мной. Сегодня я в настроении: голова с похмелья не болит!

У своей королевской голубятни он громко скомандовал:

— Стоп сам себе говорю!

Подмигнув мне, он хозяйски запустил руки в вольер. Пошарив там, отпрянул, цепко держа в обеих руках моих сизарей.

— Фокус-покус! — зычно вскричал Савва. — Многоуважаемая публика! Щас будет жуткий номер! «Горькая правда земли», как сказал бы наш великий поэт Серега Есенин! Выступает товарищ Крестов с Сиреновой улицы!

И он с силой метнул голубков высоко вверх.

— Раз они твои — пожалуйста, пусть улепетывают к тебе. Кыш!

— Кыш!!! — закричал я, подпрыгивая и хлопая в ладоши.

Сизари описали дугу над домом Саввы и вернулись на косяк, как магнитом притянутые. Тотчас заворковали и принялись поспешно обираться, наводя свой утренний птичий марафет.

Крестов покосился на меня и почти сочувственно вздохнул:

— Ты того, не реви. Утрись. Важное ли дело, птички эти? Баловство одно. Хочешь, я прямо сейчас подпалю свою голубятню? Дядя не фраер!

— Не надо, пожалуйста... — захныкал я.

Дома я смел зерна с подоконника. У меня было в душе такое решительное настроение, что я уже никогда даже смотреть не стану ни на каких голубей. Пропади они пропадом!

А утром меня разбудил странный звук, который доносился от окна. Тук-тук-так... Можно было подумать, что идет дождь. Но видно было, что сквозь занавески всюду светило солнце.

Я поднялся глянуть, в чем дело.

Зажмурясь от яркого света, бывшего мне навстречу, я подошел к окну и распахнул его.

...На металлическом отливе лежало темно-синее перо.

— Сизарь! — закричал я и высунулся наружу так, чтобы увидеть небо во всей его распахнутости.

Никого...

Я босиком выбежал во двор и быстро полез на горячую крышу нашего сарая.

— Сизарь! Сизарь! — отчаянно звал я, напряженно вглядываясь в летнюю легкую синеву.

Более раскидистого и пустого неба я больше никогда не видел.

Когда мама вошла ко мне в комнату позвать завтракать, то увидела только пустую смятую постель.

Она выглянула в окно. Около сарая уже стоял рядок оструганных досочек. Я неподалеку у верстака азартно трудился рубанком.

— Эй, мастер-ломастер! — засмеялась она. — Что все это значит?

— Я делаю голубятню! — строго заявил я. — Мои сизари прилетят! Вот увидите!

Прошло много дней, но мои слова ничем конкретным не подтвердились. Они не прилетели...

Однако голубятников бывших не бывает. По крайней мере, я остался им поныне, хотя сегодня над Воронежем голубиную стаю вы вряд ли увидите.

Но недавно... Я как раз стоял у окна, наблюдая за нынешней небывало теплой осенью.

И тут вдруг вдалеке внезапно объявилась над Воронежским «морем» голубиная стая. Словно из моего далекого прошлого выскользнула. Я не поверил своим глазам! Поспешно распахнул окно настежь, невзирая ни на какие возможные для меня простудные обстоятельства.

— Милые вы мои! Вы так-таки вернулись! — порывисто крикнул я.

Своим наметанным глазом я узнал среди них и мичуринских чаек, и знаменитых голубков московской породы, но прежде всего — моих любимцев черно-пегих акробатов-турманов. Голубки то резво становились на крыло, то вертко подхватывались вверх, а там озорно, смело ныряли вниз, будто салютуруя моей прежней голубиной мечте. Мне казалось, что и я сейчас вместе с этой стаей сам азартно летаю в небе, не зная усталости.

Все-таки они прилетели...

## АУРА ДУХОВНОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ

*(Заметки о прозе Сергея Пылева)*

Недавно я получила новую книгу Сергея Пылева «Харисто», состоящую из семи повестей и четырнадцати рассказов. Как настоящий мастер прозы, писатель обладает особым голосом, окрашенным интонациями легкой иронии, мягкого юмора, сочувствия и порой глубокой симпатии по отношению к своим героям и тем условиям, в кото-

рых им предназначено жить. Время действия повестей и рассказов — это последние три года, начиная с объявленной пандемии.

Повесть «Харисто» начинается с размышлений Виктора Прокофьевича Степанова, героя повествования, о главном человеке в нашей стране — «простом».

Смотря на «крайние годы жизни», «ему так и не довелось увидеть, чтобы “простой” человек жил нормально, в достаточном благополучии, а не наперекосяк». Правда, был порыв в светлые дали Хрущева, распахнувшего «ширь небес», пообещавшего жизнь при коммунизме. Вспоминать грустно и забыть невозможно.

В беседах с соседом Анатолием темы всегда самые актуальные: скачок цен «на всякие там яйца, сахарок да рыбку какую-никакую, неподъемная оплата услуг ЖКХ, да с Украиной никак на мирные рубежи не выйдем». Сосед уходил, а Виктор Прокофьевич просил у жены Алевтины «капелек» от «заискрившего» сердца.

И тут же возникает тема правительственного решения о повышении пенсионного возраста, воспоминания о Сталине, сказавшем последнюю фразу: «Без меня пропадете», полет Юрия Гагарина в космос, первый телевизор «КВН» и понимание того, что «бродивший по Европе призрак коммунизма не материализуется», получение юным Степановым характеристики после школы, что «в тюрьму не возьмут» за то, что на уроке он произнес «Хрущев», не назвав по имени-отчеству коммунистического лидера.

В преклонном возрасте веру в коммунизм Виктор Прокофьевич теряет, Алевтина помогает ему понять, что «Моральный кодекс строителя коммунизма» — это та же Нагорная проповедь. Приняв православие, бывший атеист понимает, что никогда он себя так свободно не чувствовал — «точно мой заветный коммунизм наступил. В душе! Небесный коммунизм!»

Во время операции на сердце ему ангел нашептал слова: «Харисто гунаиз!» Стоит только человеку произнести эти слова, как он и все человечество обретут заветное счастье. Он записал эти слова и другие, которые говорил ангел, но когда пришел в себя, не вспомнил их значения и определил как бред. Что такое харисто, никто не знал, но напоминает это слово евхаристию — благодарение,

благодарность, признательность, добро, благо, почитание, честь, уважение, а также Святое причастие.

Свет православного слова, аура добра и духовного просветления загорается перед читателем книги Сергея Пылева, предлагая искреннее и доверительное размышление. Его художественное творчество дает возможность почувствовать жизнь в непревзойденной свежести и подлинности. Изображение им современной жизни захватывает нас, потому что в повести Россия представлена во всей яркости и правде менталитета русского человека, обладателя высшего дара — быть счастливым не одному, а непременно со всем человечеством.

В повести «Антимир» главный герой — Иван Морозов, шлифовщик шестого разряда. Его глаза — «зорко всевидящие, лучисто-лазерные, точно способные высветить в душе любого человека те его глубинные качества и свойства, о которых тот сам и не подозревал». Душа его «была сродственна» с душой директора завода Михаила Анатольевича Вельяминова, «как два яблока на одной ветке». Всегда находились у них темы для обсуждения: «они предпочитали пристрастно отхлестать верхи за дерзостную махинацию с поголовным отнятием у населения сберегательных вкладов или за лицемерно невыполненное обещание выплачивать рядовым россиянам проценты за добычи богатств, содержащихся в недрах страны».

Сергей Пылев — один из немногих литераторов, кто погружается в тему взаимоотношения старшего поколения и современного, смартфонного, трусливо показавшего себя в многотысячном исходе после объявления мобилизации, отправившись во враждебные их Родине страны, лишив себя корней и истоков. «Какой воздух свежий, — произносит Вельяминов. — Сколько с началом СВО всякой дряни бежало от нас! Только бы они не вернулись...»

Высокое созерцание всегда свойственно большому художнику. За плечами писателя — водораздел крушения

духовных ценностей, с которыми жили люди в СССР, и попадания в тесно-мрачную комнатку перестроечных 90-х годов. Все это пространство как бы наполняется отзвуками голосов русских мыслителей — Федора Достоевского и Василия Шукшина. Это волнительное, бережное отношение к родному народу, согревающее дыхание мысли и providчества, потаенная красота русского характера.

В повести «Небоевые потери» профессор, заведующий кафедрой самолетостроения Георгий Владимирович Шаталов готовился отметить свое семидесятилетие, когда в ответ на многолетний обстрел Донбасса Россия вынужденно объявила о начале спецоперации на Украине. Он совершенно не ожидал, что его дочь с мужем на такси за 40 000 рублей молчком уедут в Казахстан с намерением дальше переехать в Грузию, чтобы «Костика не мобилизовали». Дочь эсэмэской сообщила об этом отцу уже из Казахстана. Возникло отцовское ощущение напрасности всех своих усилий длиною в жизнь. Это было неприятно. Но главное, что он испытывал стыд за свое отстраненное место в стороне от боевых действий, когда видел взлетающие «сушки-бомбардеры», эти уникально совершенные машины, о штурвале которых он когда-то мечтал, но ростом и высь, и ширию был больше, чем полагается пилоту «ястребка». Как хотел он быть полезным, но понимал: «Кому ты нужен, дед...» Он всматривался в экран телевизора, обостренно пытаясь понять, что же заставляет небандеровцев стрелять в сторону Донбасса, но видел в сюжетах лишь оборзевших пацанов из тусовки в каком-нибудь затрапезном баре, часто хулигански-похабных, но никак не борцов за новую идею.

Его мысли о военкомате вызывали у него же самого сдержанную усмешку. Приняли бы за выжившего из ума старикашку. И военный билет вызвал бы реакцию смеха, ведь он служил в армии начальником библиотеки. Дочь позвонила уже из Тбилиси. Она оставила в

квартире собаку, хотя говорила, что любит ее. Вот, оказалось, какие люди бегут от мобилизации. Друг дочери и ее мужа Костика — Гриша — прячется в их квартире от мобилизации. Боясь воя собаки, он ее задушил. «Я не хотел убивать песика, так получилось, я зажал ему челюсть...»

За окном шли колонны военных машин, по железной дороге везли зачехленные танки.

Встреча с бабушкой, вера в Бога помогает Георгию Владимировичу сохранить связь земного и небесного, дает смысл существованию человека. «Чем человечество провинилось, — спрашивает себя Георгий Шаталов, — что ему наглядно продемонстрирован нелепый культ: страны, некогда спасенные нами от фашизма, вновь сделали его своей сущностной основой. Наряду с принципами своей похотливой свободы».

Каждая повесть или рассказ Сергея Пылева — часть огромной вселенной с обостренным чувством ее восприятия, огромной внутренней жизнью при внешней сдержанности. Писатель как бы предостерегает, что человечество охватывает тот самый сон разума, о котором предупреждал знаменитый испанский художник. Возникла драма разума, оказавшегося под «железной пятой безумного капитала», как говорит современный петербургский философ Александр Субето в своей книге «Диктатура кажимости» (2021). Драма разума несет «культуру массовой смерти» как данность и обыденность, переходя в «трагедию разума» как момент «глобальной антропологической катастрофы».

«Есть ли жизнь на антресолях» — это произведение-воспоминание, ностальгия по счастливому детству, по прошлому, в котором все так отличалось от современной жизни, где «столько политики в этой жизни. Без нее просто никуда. Слово именно ею и ради нее мы живем». Герой повести Игорь Юрьевич ловит себя на мысли, что давние, старые вещи в антресоли вызывают «нежное, чуть ли не младенческое желание ос-

таться здесь навсегда». Старик, вопреки давней бессоннице, даже «заснул вмиг и благодатно». Жизнь, которую хранят в себе антресоли, оказалась милой сердцу и умиротворяющей.

«Игра» с половой принадлежностью становится темой повести «Сорок домашних кошек», где слабый характером герой по имени Виктор становится... Инной. Такова прихоть обеспеченной дамочки Инны, завещавшей свои богатства Виктору на одном условии: он становится благодаря определенным операциям ею, Инной.

«Ясно одно: бытие народа нашего есть глобальное испытание злом, — отвечает случайный мудрый человек на исповедь Виктора. — Корежит его на каждом шагу. Вот и лишние люди вновь появились на российских путях-дорогах. И ты, по всему видно, один из них. Только, без обид, плюгавенький. Давненько вас было не видеть, господа ничемные. Но роднит вас, нынешних, инфантильных и равнодушных, с Базаровым невозможность достойно реализовать себя». И в литературе, и в жизни судьба «лишнего человека» трагична.

За финансовой капиталократией, точнее, олигархатом, сумевшим обрести мировые масштабы, скрывается такая степень отчуждения от интересов человека и человечества в целом, от природы и законов жизни, что она действительно превратила мир в «конец Света» или же, как охарактеризовал этот мир Уильям Астор, в «культуру массовой смерти» — как физической, так и духовной.

Спасение мира, делаем мы вывод вместе с писателем, — в объективных знаниях о мироздании и созидании, об истории человечества, в научно-познавательном и художественно-философском осмыслении настоящих проблем бытия. Это шанс уцелеть в условиях манипуляции сознанием и гибридных войн. Нам нужно, как говорит Людмила Воробьева, критик из Минска, «восстановить наше гуманитарное полушарие, без которого, и это окончательно выяснится очень скоро, полноценный мыслительный процесс будет уже невозможен». Об этом — книга-предупреждение Сергея Пылева.

*Лидия ДОВЫДЕНКО*

